



ИЗ СТИХОВ

* * *

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны — и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам.

В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко,
Далеко все, что грезилось мне.

И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм.

ПРОРОК БУДУЩЕГО

Угнетаемый насиллием
Черни дикой и тупой,
Он питался сухожилием
И яичной скорлупой.

Из кулей рогожных мантию
Он себе соорудил

И всецело в некромантию¹
Ум и сердце погрузил.

Со стихиями надзвездными
Он в сношение вступал,
Проводил он дни над безднами
И в болотах ночевал.

А когда порой в селение
Он задумчиво входил,
Всех собак в недоумение
Образ дивный приводил.

Но, органами правительства
Быв без вида² обретен,
Тотчас он на место жительства
По этапу водворен*.

* Не скрою от читателя, что цель моего «Пророка» — восполнить или, так сказать, завершить соответствующие стихотворения Пушкина и Лермонтова. Пушкин представляет нам пророка чисто библейского, пророка времен давно минувших, когда, с одной стороны, прилетали серафимы, а, с другой стороны, анатомия, находясь в младенчестве, не препятствовала вырывать у человека язык и сердце и заменять их змеиным жалом и горячим углем, причина этим пациенту лишь краткий обморок. Пророк Лермонтова, напротив, есть пророк настоящего, носитель гражданской скорби, протестующий против нравственного упадка общественной среды и ею натурально изгоняемый. Согласно духу современности, в стихотворении Лермонтова нет почти ничего сверхъестественного, ибо хотя и упомянуто, что в пустыне пророка слушали звезды, но отнюдь не говорится, чтобы они отвечали ему членораздельными звуками. Мой пророк, наконец, есть пророк будущего (которое, может быть, уже становится настоящим); в нем противоречие с окружающей общественной средой доходит до полной несоизмеримости. Впрочем, я прямо продолжаю Лермонтова, как и он продолжал Пушкина. Но так как в правильном развитии³ всякого сюжета третий момент всегда заключает в себе некоторое соединение или синтез двух предшествующих, то читатель не удивится, найдя в моем, третьем, пророке мистический характер, импонирующий нам в пророке Пушкина, в сочетании с живыми чертами современности, привлекающими нас в пророке Лермонтова. Но пусть дело говорит за себя.

* * *

Люблю я дам сорокалетних,
 Люблю я старое вино,
 Мне зимний сад дороже летних,
 И разноцветное окно
 Полуразрушенной светлицы
 Мне так же много говорит,
 Как сердцу трепетной девицы
 Большого бала первый вид.

ЭПИТАФИЯ

Владимир Соловьев лежит на месте этом,
 Сперва был философ, а ныне стал шкелетом.
 Иным любезен быв, он многим был и враг;
 Но, без ума любив, сам ввергнулся в овраг.

Он душу потерял, не говоря о теле:
 Ее диавол взял, его ж собаки съели.
 Прохожий! Научись из этого примера,
 Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

* * *

Цвет лица геморройдный,
 Волос падает седой,
 И грозит мне рок обидный
 Преждевременной бедой.
 Я на все, судьба, согласен,
 Только плешью не дари:
 Голый череп, ах! ужасен,
 Что ты там ни говори.
 Знаю, безволосых много
 Меж святых отцов у нас;
 Но ведь мне не та дорога:
 В деле святости я — пас.
 Преимуществом фальшивым
 Не хочу я щеголять
 И к главам мироточивым
 Грешный череп причислять.

Поправка

Ах! забыл я — за святыми
 Боборыкина забыл!
 Позабыл, что гол, как вымя,
 Череп оный вечно был.

Впрочем, этим фактом тоже
 Обнадежен я, — ибо,
 Если не святой я Божий,
 То ведь и не Пьер Бобó? ¹

* * *

Скоро, скоро, друг мой милый,
 Буду выпущен в тираж
 И возьму с собой в могилу
 Не блистательный багаж.

Много дряни за душою
 Я имел на сей земле
 И с беспечностью большою
 Был не тверд в добре и зле.

Я в себе подобье Божье
 Непрерывно оскорблял, —
 Лишь с общественной ложью
 В блуд корыстный не впадал.

А затем, хотя премного
 И беспутно я любил ¹,
 Никого зато, ей-Богу
 Не родил и не убил ².

Вот и все мои заслуги,
 Все заслуги до одной.
 А теперь, прощайте, други!
 Со святыми упокой! ³

* * *

Вчера, идя ко сну, я вдруг взглянул в зеркало, —
 Взглянул и оробел:

И в длинной бороде седых волос немало,
И ус отчасти бел.

Не смерть меня страшит: я, как Кутузов *, смело
Обнять ее готов, —
Почто я трепещу пред каждой нитью белой
Презренных сих власов?

Иль я славянофил? Отнюдь! Но в глас народный
Я верю, как они,
А оный глас — увы! — душе моей свободной
Сулит плохие дни.

«Когда в твоей браде — я слушаю тревожно —
Блеснуло серебро,
Душевный мир сбережь тебе уж невозможно:
Ты беса жди в ребро!»

Умолкнул вещей глас. — Тоскою беспредметной,
Как встарь, душа полна

.....

Не бес один, не пять в моем ребре несчастном,
А легион чертей...
Ужель и мне искать в сем кризисе ужасном
Спасительных свиней? ²

И вот опять звенит, но не в ушах, а сбоку,
Вот и слова слышны:
«Всего-то отдохнуть тебе мы дали сроку
Одну иль две весны.

А ты уже возмнил, что с Тульским ** архиереем
Сравнялся простотой.
В противном убедить мы средства все имеем...
«Любезнейший, постой!»

* Под Кутузовым можно разуместь покойного фельдмаршала, князя Смоленского, а равно нынешнего директора трех банков и певца смерти (*примеч. авт.*)¹.

** Под Тульским архиереем сил лукавыя и нечистыя твари разумеют покойного преосвященнейшего Никандра, который настолько упростил свое мирозерцание, что у всякой женщины усматривал лишь «обыкновенное женское лицо» (*примеч. авт.*).

.....
 Что дальше слышал я, что увидел в мечтанье,
 Во сне что испытал, —
 Рассказывать тебе не стану в назиданье:
 Ты сущность угадал.

ПРИЗНАНИЕ

*Посвящается гг. Страхову,
 Розанову, Тихомирову и К°*

Я был ревнитель правоверия²,
 И съела бы меня свинья³,
 Но на границе лицемерия
 Поворотил оглобли я.

Душевный опыт и история,
 Коль не раскроешь ты очей,
 Тебя научат, что теория
 Не так важна, как жизнь людей.

Что правоверие с безверием
 Вспоило то же молоко
 И что с холодным лицемерием
 Вещать анафемы легко.

Стал либерал такого сорта я,
 Таким широким стал мой взгляд,
 Что снять ответственность и с черта я,
 Ей-Богу, был бы очень рад.

Он скверен, с гнусной образиной,
 Неисправим — я знаю сам.
 Что ж делать с эдакой скотиной?
 Пускай идет ко всем чертям!

* * *

Нескладных виршей полк за полком¹
 Нам шлет Владимир Соловьев,
 И зашибает тихомолком
 Он гонорар набором слов.

Вотще! Не проживешь стихами,
 Хоть, как свинья, будь плодови́т!

Торгуй, несчастный, сапогами
И не мечтай, что ты пиит.

Нам все равно, зима иль лето,
Но ты стыдись седых волос,
Не жди от старости расцвета
И петь не смей, коль безголос.

* * *

*Дорогой Михаил Альбертыч!*¹

Одержим я страшным гриппом;
Хоть ножом в меня теперь тычь,
Не явлюсь я с этим хрипом!
А затем, любезный Кавос,
Ехать мне в Москву пора же...
И схватил бы за бока вас
И умчал бы в те паражи²,
Где в рубахах Ганимеды³
Угощают всем, что надо,
Где сроднили уж обеды
С радикалом ретрограда.
Но увы! Трактиры те же,
Да года то уж иные,
Аппетит приходит реже,
Чаще снятся сны дурные.
Скрылись дни Аранхуэца⁴,
Консул Планк давно уж помер⁵.
К Ганимедам бородатым
Ехать вовсе неохота.
Не кутить теперь — куда там,
Лишь кончалась бы работа.
Не оставивши потомка,
Я хочу в потомстве славы
Объявляю это громко,
Чуждый гордости лукавой.
Но стянула жизнь у славы
Десять лет, по крайней мере,
Так теперь я должен, право,
Наверстать сию потерю.
Мысль о пьянстве, о цыганах
Навсегда я оставляю

И о внутренних органах —
 Не трактирных — помышляю.

НАДПИСЬ НА КНИГЕ «ОПРАВДАНИЕ ДОБРА»

Явился я на свет под знаком Водолея.
 Читатель, не страшись и смело воду пей:
 Она — не из меня, ее нашел в скале я,
 Из камня истины выходит сей ручей¹.

ТРИ СВИДАНИЯ

(Москва—Лондон—Египет. 1862—75—76)

Поэма

Заранее над смертью торжествуя
 И цепь времен любовью одолев,
 Подруга вечная, тебя не назову я,
 Но ты почувешь трепетный напев...

Не веруя обманчивому миру,
 Под грубою корою вещества
 Я осязал нетленную порфиру
 И узнавал сиянье Божества...

Не трижды ль ты далась живому взгляду —
 Не мысленным движением, о нет! —
 В предвестие, иль в помощь, иль в награду
 На зов души твой образ был ответ.

I

И в первый раз — о, как давно то было! —
 Тому минуло тридцать шесть годов,
 Как детская душа нежданно ощутила
 Тоску любви с тревогой смутных снов.

Мне девять лет; она... * ей — девять тоже.
 «Был майский день в Москве»¹, как молвит Фет.

* «Она» этой строфы была просто маленькою барышней и не имеет ничего общего с тою «ты», к которой обращено вступление (примеч. авт.).

Признался я. Молчание. О, Боже!
Соперник есть. А! он мне даст ответ.

Дуэль, дуэль!² Обедня в Вознесенье³.
Душа кипит в потоке страстных мук.
*Житейское... отложим... попеченье*⁴ —
Тянулся, замирал и замерз звук.

Алтарь открыт... Но где ж священник, дьякон?
И где толпа молящихся людей?
Страстей поток — бесследно вдруг иссяк он,
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла Ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман.

И детская любовь чужой мне стала,
Душа моя — к житейскому слепа!..
А немка-бонна грустно повторяла:
«Володинька — ах! слишком он глупа!»

II

Прошли годá. Доцентом и магистром
Я мчуся за границу в первый раз.
Берлин, Ганновер, Кельн — в движеньи быстром
Мелькнули вдруг и скрылися из глаз.

Не света центр, Париж, не край испанский,
Не яркий блеск восточной пестроты, —
Моей мечтою был Музей Британский⁵
И он не обманул моей мечты.

Забуду ль вас, блаженные полгода?
Не призраки минутной красоты,
Не быт людей, не страсти, не природа —
Всей, всей душой одна владела ты.

Пусть там снуют людские мириады
Под грохот огнедышащих машин,
Пусть зиждутся бездушные громады, —
Святая тишина, я здесь один.

Ну, разумеется, *cum grano salis*⁶:
Я одинок был, но не мизантроп;
В уединении и люди попадались,
Из коих мне теперь назвать кого б?

Жаль в свой размер вложить я не сумею
Их имена, не чуждые молвы...
Скажу: два-три британских чудодея⁷
Да два иль три доцента из Москвы⁸.

Все ж больше я один в читальном зале;
И верьте, иль не верьте, — видит Бог,
Что тайные мне силы выбирали
Все, что о ней читать я только мог.

Когда же прихоти греховные внушали
Мне книгу взять «из оперы другой», —
Такие тут истории бывали,
Что я в смущеньи уходил домой.

И вот однажды — к осени то было —
Я ей сказал: «О, божества расцвет!
Ты здесь, я чую, — что же не явила
Себя глазам моим ты с детских лет?»

И только я помыслил это слово, —
Вдруг золотой лазурью все полно,
И предо мной она сияет снова —
Одно ее лицо — оно одно.

И то мгновенье долгим счастьем стало,
К земным делам опять душа слепа,
И если речь «серьезный» слух встречала,
Она была невнятна и глупа.

III

Я ей сказал: «Твое лицо явилось,
Но всю тебя хочу я увидеть.
Чем для ребенка ты не поскупилась,
В том — юноше нельзя же отказать!»

«В Египте будь!» — внутри раздался голос,
В Париж! — и к югу пар меня несет.
С рассудком чувство даже не боролось:
Рассудок промолчал, как идиот.

На Льон, Турин, Пьяченцу и Анкону,
На Фермо, Бари, Бриндизи⁹ — и вот
По синему трепещущему лону
Уж мчит меня британский пароход.

Кредит и кров мне предложил в Каире
Отель «Аббат», — его уж нет, увы!
Уютный, скромный, лучший в целом мире...
Там были русские, и даже из Москвы.

Всех тешил генерал — десятый номер —
Кавказскую он помнил старину...
Его назвать не грех — давно он помер,
И лихом я его не помяну.

То Ростислав Фаддеев¹⁰ был известный,
В отставке воин и владел пером.
Назвать кокотку иль собор поместный —
Ресурсов тьма была сокрыта в нем.

Мы дважды в день сходились за табльдотом;
Он весело и много говорил,
Не лез в карман за скользким анекдотом
И философствовал по мере сил.

Я ждал меж тем заветного свиданья,
И вот однажды в тихий час ночной,
Как ветерка прохладное дыханье:
«В пустыне я — иди туда за мной».

Идти пешком (из Лондона в Сахару
Не возят даром молодых людей, —
В моем кармане — хоть кататься шару,
И я живу в кредит уж много дней).

Бог весть куда, без денег, без припасов,
И я в один прекрасный день пошел, —

Как дядя Влас, что написал Некрасов¹¹
(Ну, как-никак, а рифму я нашел)*.

Смеялась, верно, ты, как средь пустыни¹²
В цилиндре высочайшем и в пальто,
За черта принятый, в здоровом бедуине
Я дрожь испуга вызвал и за то

Чуть не убит, — как шумно, по-арабски
Совет держали шейхи двух родов,
Что делать им со мной, как после рабски
Скрутили руки и без лишних слов

Подальше отвели, преблагородно
Мне руки развязали — и ушли.
Смеюсь с тобой: богам и людям сродно
Смеяться бедам, раз они прошли.

Тем временем немая ночь на землю
Спустилась прямо, без обиняков.
Кругом лишь тишину одну я внемлю
Да вижу мрак средь звездных огоньков.

Прилегши наземь, я глядел и слушал...
Довольно гнусно вдруг завыл шакал;
В своих мечтах меня он, верно, кушал,
А на него и палки я не взял.

Шакал-то что! Вот холодно ужасно...
Должно быть, нуль, — а жарко было днем...
Сверкают звезды беспощадно ясно;
И блеск, и холод — во вражде со сном.

И долго я лежал в дремоте жуткой,
И вот повеяло: «Усни, мой бедный друг!»
И я уснул: когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и неба круг.

* Прием нахождения рифмы, освященный примером Пушкина, и тем более простительный в настоящем случае, что автор, будучи более неопытен, чем молод, первый раз пишет стихи в повествовательном роде (*примеч. авт.*).

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня *¹³,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Что есть, что было, что грядет вовеки —
Все обнял тут один недвижимый взор...
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.

Все видел я, и все одно мне было —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

О лучезарная! тобой я не обманут:
Я всю тебя в пустыне увидал...
В моей душе те розы на завянут,
Куда бы ни умчал житейский вал.

Один лишь миг! Видение сокрылось —
И солнца шар всходил на небосклон.
В пустыне тишина. Душа молилась,
И не смолкал в ней благовестный звон.

Дух бодр! Но все ж не ел я двое суток,
И начинал тускнеть мой внешний взгляд.
Увы! как ты ни будь душою чуток,
А голод ведь не тетка, говорят.

На запад солнца путь держал я к Нилу
И вечером пришел домой в Каир.
Улыбки розовой душа следы хранила,
На сапогах виднелось много дыр.

Со стороны все было очень глупо
(Я факты рассказал, виденье скрыв).
В молчаньи генерал, поевши супа,
Так начал важно, взор в меня вперив:

* Стих Лермонтова (*примеч. авт.*).

«Конечно, ум дает права на *глупость*,
 Но лучше сим не злоупотреблять:
 Не мастерица ведь людская тупость
 Виды безумья точно различать.

А потому, коль вам прослыть обидно
 Помешанным иль просто дураком, —
 Об этом происшествии постыдном
 Не говорите больше ни при ком».

И много он острил, а предо мною
 Уже лучился голубой туман,
 И, побежден таинственной красою,
 Вдаль уходил житейский океан.

Еще невольник суетному миру,
 Под грубою корою вещества
 Так я прозрел нетленную порфиру
 И ощутил сиянье божества.

Предчувствием над смертью торжествуя
 И цепь времен мечтою одолев,
 Подруга вечная, тебя не назову я,
 А ты прости нетвердый мой напев!

26—29 сент. 1898 г.
Пустынька

Примечание. Осенний вечер и глухой лес внушили мне воспроизвести в шуточных стихах самое значительное из того, что до сих пор случилось со мною в жизни. Два дня воспоминания и созвучия неудержимо поднимались в моем сознании, и на третий день была готова эта маленькая автобиография, которая понравилась некоторым поэтам и некоторым дамам (*примеч. авт.*).

